НОВАЯ ГАЗЕТА
№ 1 (421)
6 — 12 января 1997 г.



**24 декабря 1849 года, в рождественский Сочельник, Достоевского, осужденного по делу петрашевцев, везли в открытых санях с фельдъегерем и жандармом из столицы на каторгу.**
**Сани мчались мимо ярко освещенного дома Андрея Краевского, редактора «Отечественных записок».**
**К нему на елку сошелся весь литературный Петербург.**
**Достоевский, закованный в кандалы, глядел на окна.**
**«Трудно быть более в гибели, но работа меня вынесла», — напишет он много позже о своей судьбе.**
**В канун Рождества 1997 года «Новая газета» публикует фрагмент только что вышедшей книги Людмилы Сараскиной «Федор Достоевский. Одоление демонов» (М.: Согласие, 1996)**

# Случай Достоевского

## Казнь можно отложить, но избежать ее нельзя

...Психологическое потрясение, которое пережил Достоевский 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу, должно было навсегда сохранить в памяти писателя не только обряд приготовления к казни, не только сцену прощания с товарищами, но и его фантастический разговор у расстрельных столбов с кощунственным богоотрицателем, коммунистом и революционером Николаем Спешневым, «своим Мефистофелем».

В тот самый момент, когда приговор полевого уголовного суда был прочитан, осужденным выданы саваны и колпаки и священник с Евангелием и крестом произнес: «Братья! Перед смертью надо покаяться... Кающемуся Спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди...» — Достоевский, по свидетельству очевидца, подошел к Спешневу.

Спустя десятилетие петрашевец Львов писал: «Достоевский был несколько восторжен, вспоминал «Последний день осужденного на смерть» Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал: «Nous serons avec le Christ» («Мы будем вместе с Христом»). «Un peu de poussière» («Горстью праха»), — отвечал тот с усмешкою».

Через минуту первую тройку — Петрашевского, Момбелли и Григорьева — поставили к столбам и завязали глаза. «Момбелли, подымите ноги выше, — по версии Львова, сказал Петрашевский, — а то с насморком придете в царство небесное».

Душевный порыв товарища по несчастью, превозмогающего страх смерти спасительной мыслью о Христе, был встречен холодно и насмешливо. Между тем у Достоевского была возможность здесь, у эшафота, дать естественный выход своему религиозному чувству, обратившись к священнику; однако вместе с двадцатью другими узниками он, не внимая призывам и увещаниям батюшки, отказался от исповеди и покаяния, ограничившись, как и все, целованием креста. Зная, однако, что Спешнев — скептик и атеист, зачем все-таки Достоевский подошел именно к нему? Затем, что душа Спешнева заботила его больше, чем своя собственная? Или с безотчетным стремлением художника воочию увидеть вольнодумца, презирающего самую мысль о церковном покаянии?

За три года общения с петрашевцами Достоевский не раз сталкивался с богохульством и святотатством. Практиковали обычай разговляться в Страстную пятницу; на стол для закусок выставлялись кулич, пасха, красные яйца. Религия вредна, говорили на собраниях, потому что подавляет ум и заставляет человека быть добрым из страха наказания. Толковали, что с помощью науки нельзя положительно доказать ни бытия Божия, ни Его небытия. Издевались над духовенством; богословие называли бреднями, вышедшими из монашеских клобуков. Утверждали, что Иисус Христос — не Бог, а простой человек, «такой же, как и мы». В одной из рукописных речей, найденных при обыске, Христос Распятый был назван демагогом, неудачно кончившим свою карьеру.

Согласно законам Российской империи такие тексты не сулили тогда ничего хорошего. Военный суд над петрашевцами в приговоре своем опирался на статью 142 Свода военных постановлений, гласившую: «Кто возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, или на Пресвятую Матерь Божию, деву Марию, или на честный крест, или поносит службу Божию и церковь православную и ругается Св. писанию и Св. таинствам и в том явно изобличен будет, тот подвергается лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу, а сверх того и публичному церковному покаянию».

Петрашевец Константин Тимковский показал, что впал в бездну неверия и злочестия, будучи доведен до нее всеми тонкостями самой хитрой и лукавой диалектики; причем главным искусителем тридцатичетырехлетнего титулярного советника назывался не Петрашевский, а именно Спешнев. В положении Тимковского мог оказаться каждый, в том числе и Достоевский, — неизвестно, случалось ли ему в угоду атеистическому учителю и в его присутствии скрывать собственную религиозность и терпеть воинственное безбожие окружающих. Однако двадцать лет спустя автор «Бесов» настойчиво добивался реванша: Шатов, такой же горячий и восторженный богоискатель, как в молодые годы Достоевский, восставал против своего кумира за его насмешливое богохульство.

«Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога...» — «Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли аль еще бегает?..» — «Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими!»

«Соус из зайца», «с насморком в царство небесное», «мы будем со Христом горстью праха» — все это были фразы одного лексикона, болезненно знакомого Достоевскому (и, по-видимому, болезненно ненавистного) еще по тем временам, когда он посещал вместе со Спешневым пятницы Петрашевского: факт его присутствия в Страстную пятницу 1 апреля 1849 года на собрании с разговением и пасхальным угощением был подтвержден на следствии им самим. Так что, если бы задним числом он решился следовать логике Шатова, ему пришлось бы по-шатовски же и одернуть Спешнева в том фантастическом разговоре у эшафота — это был именно такой случай, когда абсолютно необходимы были слова из будущего романа: «Мы два существа и сошлись в беспредельности... последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий!»

В глазах судей, однако, и он, Достоевский, негодовавший от грубых атеистических выходок Петрашевского, был таким же богохульником: свой смертный приговор он получил за чтение «преступного письма» Белинского... «Я прочел эту статью ни более ни менее как литературный памятник, твердо уверенный, что она никого не может привести в соблазн, — настаивал он на следствии. — Я не поджигал кругом меня никого...»

Он никогда и не принял бы на свой счет обвинений в атеистической агитации; на каторгу шел без злобы и желчи и готов был обнять «хоть кого-нибудь из прежних» — лишь сокрушался, что столько раз «грешил против сердца своего и духа». Но, едва выйдя из острога с Евангелием, подаренным ему на тобольской пересылке Н. Д. Фонвизиной, женой «ссыльного старого времени», он буквально исповедался перед ней — как перед духовником. Была причина, по которой он не побоялся выглядеть в глазах участливой и доброй дамы навязчиво откровенным. «Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Наталья Дмитриевна. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных».

Николай Спешнев — прототип Николая Ставрогина. Рукописные листы к роману «Бесы»

Страшные мучения терзали его, видимо, и на кощунственной Страстной пятнице у Петрашевского; и на политическом обеде у Спешнева в Страстную субботу; и во время программного атеистического выступления Спешнева, в котором докладчик рекомендовал всем «без всякого стыда и совести, без всякого зазора» распространять социализм, атеизм и терроризм как истинно добрые дела; и у эшафота, когда жажда веры опять была в нем, благоговевшем ученике, насмешливо унижена. И был только один способ радикально избавиться от дурной бесконечности сомнений и этого вечного «соуса из зайца», которые доводили его в те времена до тошной тоски. В «Бесах» душевное смятение автора, оплаченное дорогой ценой, было обозначено точными словами и реализовалось в сюжет.

«Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...» — лепетал в исступлении Шатов. «А в Бога? В Бога?» — требовал ответа Ставрогин. «Я... я буду веровать в Бога».

Вряд ли в тот роковой 1849 год мог в реальности состояться подобный диалог; вряд ли отношения между учеником и учителем были уже столь обнаженно обострены. И если только могучее влияние Мефистофеля—Спешнева и в самом деле имело место, пять лет спустя оно могло ослабеть — хотя бы потому, что было насильственно прервано. «Бог посылает мне иногда минуты, — писал Фауст—Достоевский Н. Д. Фонвизиной, — в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Это был не пламенный вызов, а осознанный выбор: тот, кто доказывал и как будто действительно доказал (может быть, и впрямь трактат Спешнева об атеизме содержал, как тогда казалось Достоевскому, некие «неотразимые аргументы»), что пресловутый «заяц» так и не пойман, терял своего преданного ученика и пропагандиста. Мысленно продолжая тот почти нереальный разговор за минутку до казни, Достоевский наконец нашел симметричный ответ. «Мы будем вместе с Христом», — сказал он тогда. Но даже если за чертой жизни ему действительно оставалось быть лишь *горстью праха*, сейчас он готов был исправить свою тогдашнюю оговорку: «Мы будем...», не поддержанную атеистическим учителем. Он готов был — пусть учитель и окажется прав — отказаться и от учителя, и от истины. «Мне лучше хотелось бы оставаться со Христом...»

Останется великой художественной загадкой, почему символ веры, высказанный в исповедальном частном письме к выдающейся женщине, подарившей каторжанину Достоевскому Евангелие, спустя много лет он отдал персонажу, в чьих устах религиозное откровение автора должно было выглядеть как кощунственная профанация. Достоевский примерял свой символ веры, добытый тяжкой духовной работой и годами испытаний, на испорченном барине — закоренелом безбожнике и неисправимом грешнике. И выходило так, что даже и откровеннейшая религиозная исповедь могла стать вероломной игрой, а герой, уже как будто избравший путь «со Христом», вновь и уже необратимо терял веру.

Грандиозная задача по исцелению одержимых и бесноватых выглядела в реальности как грандиозная же, но неосуществимая мечта; каждый новый план спасения грешника наталкивался на непреодолимое препятствие, идущее как бы изнутри личности, радикально изменить которую не удавалось...

Какие бы подвиги ни совершал герой, какие бы пламенные проповеди он ни произносил, насаждая в сердцах адептов «Бога и родину» или, напротив, заражая их гордыней своеволия, он сам ничему этому поверить не мог. Тайной героя, тайной романа о нем и прежде всего тайной автора оказывался вопрос: не смог или не захотел Достоевский направить своего героя на путь христианского спасения? Перед творцом Ставрогина была судьба прототипа, Спешнева, которой тот распорядился по своему усмотрению и — насколько об этом мог судить Достоевский — ни от кого не ждал и скорее всего не думал о религиозном спасении.

Аристократ, пошедший в демократию, оставался верен всем прежним убеждениям и стремился в этом своем качестве быть полезным обществу: занимался земской деятельностью, был почетным мировым судьей, гласным уездного земского собрания. В глазах Достоевского такой поворот судьбы Спешнева—Мефистофеля никак не рифмовался с судьбой Ставрогина—демона. Если прототип жил, и не веруя, и не бунтуя, то герой, все более мертвея в холодном неверии, приговаривался к самоистреблению: автор судил своего героя значительно строже, чем жизнь обходилась с прототипом. Судьба Спешнева представилась его прежнему ученику как частный случай, исключение («Чудная судьба этого человека!..»); участь Ставрогина — как правило и общий закон.

Смерть Шатова в канун его возрождения оказывалась поэтому парадоксально автобиографична. Достоевский, радикально порывая с роковыми увлечениями молодости, выставлял истинную цену своим заблуждениям и ошибкам, религиозным исканиям и духовным учителям. Испытав на себе жестокий опыт атеистических и «мефистофельских» искушений, пройдя в своей жажде верить через страшные мучения и сомнения, он заставил и своих героев проделать тот же путь: каждый из них вынужден был через отношение к Христу найти и назвать себя.

«Я — взамен Христа» — это был случай Петра Верховенского. «Я — без Христа» — это был случай Ставрогина. «Если не Христос, то я» — это был случай Кириллова. «Если Христос, то и я» — это был случай Шатова. Но был еще и случай Достоевского, его символ вёры: «С ревнивою любовью говорю себе...» Тот духовный опыт, который пролегал между формулой «Нет и не может быть ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа» и идеологемами «без Христа», обозначал истинную, сущностную дистанцию между автором «Бесов» и персонажами его автобиографического романа. Достоевский готов был жертвовать истиной, если Христу в ней не было места; его трагический герой, грешник и атеист, не мог отрешиться от своего credo: «Я знаю, что если и уверую через 15 лет в Бога, то со мной все равно произойдет ложь, потому Его нет. Я ведь знаю, что Его нет. Нет, лучше пусть я остаюсь несчастен, но с истиной, чем счастливый с ложью».

Был на земле один день, и у эшафота в предсмертных одеждах стояли приговоренные к казни. Один был до того потрясен, что сказал другому: «Мы будем вместе с Христом», но товарищ его только посмеялся над ним. Двадцать лет спустя эта история была переосмыслена. «Был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие... А если так, если законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и *Его* жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего жить, отвечай, если ты человек?»

● **Людмила САРАСКИНА**